

Copyright © 2019 by Academic Publishing House Researcher s.r.o.



Published in the Slovak Republic
 Russkaya Starina
 Has been issued since 2010.
 E-ISSN: 2409-2118
 2019, 10(2): 95-107

DOI: 10.13187/rs.2019.2.95
www.ejournal15.com



The Problems of Modern Interpretations of Classical Texts (“Captain’s Daughter” by A. Pushkin at School and University)

Olga V. Bogdanova ^{a, *}

^a Herzen State Pedagogical University, Russian Federation

Abstract

In the article on the example of the text of the novel “Captain’s Daughter” by A. Pushkin the author demonstrates how axiological perspectives of classical literary works change in modern conditions, how in a modern school can be more interesting and more deeply interpreted axiomatic material repeatedly studied and subjected to understanding in different years. In particular, the article considers the images of the central characters of Pushkin’s novel – Pyotr Grinev and Alexei Shvabrin. The article shows how two characters – Grinev and Shvabrin – stood out in Pushkin’s manuscripts from the original single and integral image of the main character of the novel. However, in contrast to the existing tradition, which considers these heroes of “Captain’s Daughter” as antagonist heroes, in this work these images are qualified as twin heroes with a common ideological root. The study shows that the image of Grinev undoubtedly bears the features of an autobiographical hero, for example, in those circumstances when the first chapter of the novel tells the story of the childhood of the central character. However, before the researchers did not pay attention to the fact that the image of Shvabrin is also accompanied by portrait details and features that have a connection with the personality of the real Pushkin, the creator of the novel. For example, at the first appearance of the hero Shvabrin in front of Grinev (and the reader) draw attention to the characteristic features of Pushkin’s portrait (curly dark hair, dark skin, short stature, fluent knowledge of French, the vitality of nature). As the novel progresses, it becomes clear that the writer deliberately gives the characters similar features, actually equalizes and likens the characters. Pushkin consciously detects the contradictory nature of each of the characters, placing them in a similar situation, pushing in a conflict – “love triangle”. Thus, Pushkin actually demonstrates the techniques of auto-psychoanalysis. Through the images of paired characters, the author disavows the duality of each person’s nature, discovers dual impulses within the personality of one person, each of us (including himself). Form of narrative in novel is memoirs, diaries, memories. This narrative form prompted the author to ensure that a single and integral image of a complex character broke up in the end into two simplified images that appeared more understandable to the consciousness and perception of the character-narrator Petrusha Grinev. The last statement does not mean that Pushkin was going to whitewash the person or to justify behavior of the hero Alexey Shvabrin. In the end, his image still comes in the text of the memoir to a negative evaluation. However, Pushkin’s ability to maintain the capacity of the character of the individual character, to abandon the primitive classic division into positive and

* Corresponding author

E-mail addresses: olgabogdanova03@mail.ru (O.V. Bogdanova)

negative characters, the ability to see in different characters antinomic phenomenon properties enriches the perception of the novel (including the image of Shvabrin).

Keywords: Russian literature of the XIX century, A. Pushkin, novel “Captain’s daughter”, dichotomy of the image, pair of characters, subjectivism of the narrative.

1. Введение

В современных условиях весьма актуален опыт педагогов-словесников (в школе и в вузе), ориентированный на возрождение и укрепление книжной культуры, читательского восприятия, интереса к книге. Чтобы привлечь (вернуть) молодое поколение к художественной литературе, к опыту русской классики, необходимо, в первую очередь, предлагать новые формы уроков. Но не менее важно – предлагать новые ракурсы восприятия традиционных текстов. Едва ли не каждое классическое произведение сегодня обретает новые семантические планы, приоткрывает сокрытые прежде ментальные пласты. Художественное наследие Пушкина в этом плане, как ни странно, предлагает множественность подходов и неожиданно новые ракурсы интеллектуального восприятия. Именно это и демонстрирует проделанный анализ текста многоаспектно изученного романа «Капитанская дочка». Однако и этот хрестоматийный текст предоставляет возможность новой аксиологии и, следовательно, новой интерпретации.

2. Материалы и методы

Освещение истории замысла и творческого воплощения романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836) было начато так давно и осуществлено столь тщательно (см.: [Белинский, 1956](#); [Блок, 1940](#); [Петров, 1953](#); [Гуковский, 1957](#); [Оксман, 1959](#); [Измайлов, 1960](#); [Макогоненко, 1977](#); [Лотман, 1988, 1999](#); [Петрунина, 1987](#); [Овчинников, 1991](#); [Богданова, 2019](#) и др.), что к фактологической стороне вопроса сегодня, кажется, вряд ли что-либо можно добавить. Между тем интерпретационные ракурсы пушкинского текста продолжают открывать новые содержательные грани, предлагают более широкие перспективы осмысления не только исторических событий, составивших основу нарративного плана романа, но и тех смысловых контекстов, которые формируют характеры главных действующих лиц романа. В основе предпринятого анализа лежит синтез основополагающих методов и принципов научного исследования, среди которых прежде всего сравнительно-сопоставительный, интертекстуальный, биографический и поэтологический – в их взаимосвязи и дополнительности.

3. Обсуждение и результаты

В попытке интерпретации «Капитанской дочки» концептуально важным оказывается то обстоятельство, что пушкинский роман находится в прямом межтекстовом диалоге с «Историей пугачевского бунта» (1834), произведением историко-культурологического характера, ставшим результатом интереса Пушкина-историка к важнейшим событиям прошлого, к событиям крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева 1773–1775 гг. На наш взгляд, стремительность появления романа «Капитанская дочка» вслед за «Историей пугачевского бунта» становится основанием к тому, чтобы рассматривать эти произведения как единую дилогию, в которой смена нарративного дискурса (точки зрения повествователя/рассказчика) в совокупности обеспечивает объективность оценки одних и тех же исторических событий, увиденных с различных сторон. При этом вопрос выбора повествователя-рассказчика в художественном произведении «Капитанская дочка» рядом с историко-документальным дискурсом «Истории пугачевского бунта» оказывается принципиально важным.

Наиболее авторитетное суждение относительно системы повествователей в романе высказал Г.П. Макогоненко в работе «“Капитанская дочка” А.С. Пушкина». Исследователь задавался вопросом: «Что же определило решение Пушкина придать своему историческому роману мемуарную форму?» – и отвечал: Пушкину «нужен был свидетель событий крестьянского восстания – свидетель, не только наблюдавший восстание <...> но и знакомый с фактами жизни Пугачева и его товарищей» ([Макогоненко, 1977: 22, 33](#)). При этом рассказчиком-свидетелем неслучайно избирался дворянин, так как в таком случае позиция героя Гринёва была честной и потому объективной: «он принужден был

свидетельствовать не только о кровавых расправах Пугачева, но и о его человечности, гуманности, справедливости и великодушии», «ценность таких показаний <...> увеличивалась именно от того, что их давал противник мятежников», «личный опыт оказывался более значимым, чем социальный» (Макогоненко, 1977: 33–35).

Видимую справедливость суждений исследователя нельзя не принять, но при этом необходимо констатировать их неокончателность. И дело не в том, что Макогоненко рассуждает (отчасти) в духе советского литературоведения (например, о значении народного духа пугачевского бунта), а в том, что исследователь не учитывает присутствия второго повествователя, «приискавшего к каждой главе приличный эпиграф», – издателя, который появляется в эпилоге романа, сообщая о том, что «подготовил» записки Гринёва к публикации. Кажется, мало значащая деталь на деле оказывается принципиально важной – дневниковая форма повествования от лица юного и наивного героя-рассказчика в таком случае сопровождается «редакторской правкой» некоего вдумчивого и опытного издателя, что позволяет Пушкину развести плоскости восприятия и акцентуации событий, описываемых и оцениваемых двумя различными субъектами наррации. Диалогические интенции эксплицированного и имплицитного персонажей оказываются если не антитетичными, то разнонаправленными (Богданова, 2019). Текст (не)отчетливо распадается на два дискурсивных уровня, когда точка зрения благородного и честного, но достаточно поверхностного наблюдателя-мемуариста разнится с восприятием и глубинным проникновением в семантику событий персонажа-издателя. В таком случае едва ли не каждое суждение молодого субъективного рассказчика как бы корректируется точкой зрения объективного наблюдателя-издателя – Пушкин словно бы демонстрирует бифокальность зрения, когда любое наблюдение героя-участника событий ставится (может быть поставлено) под сомнение или отрефлектировано иначе. В результате образы как самого мемуариста-рассказчика, так и окружающих его персонажей обретают новые ракурсы, начинают оцениваться по иной аксиологической шкале. С учетом присутствия двух повествовательных ракурсов наиболее существенной трансформации подвергается образ Алексея Швабрина.

Для (пере)оценки образа и личности Швабрина необходимо учитывать то обстоятельство, что для Пушкина и его современников актуальным было представление о «старом» и «новом» дворянстве, об аристократии «истинной» и «мнимой», о дворянстве «почтенном» и «по случаю»¹. Важное для понимания романа «Капитанская дочка» суждение о дворянстве «старом» и «новом» утрачено современным читателем: революционные события начала XX в. стерли различия между теми и другими, нивелировав их как единый класс – дворяне, помещики. Между тем у Пушкина дифференциация «старые/новые» положена в основу антиномичной персонажной системы романа, задавая бинарную оппозицию «Гринёв ↔ Швабрин».

Сведения об историческом прототипе Швабрина – Михаиле Шванвиче – Пушкин приводит в «Замечаниях о бунте» (в связи с «Историей пугачевского бунта»), и они цитировались неоднократно: «Шванвич был сын кронштадтского коменданта, разбившего некогда палашом, в трактирной ссоре, щеку Алексея Орлова (Чесменского)»; «Шванвич один был из хороших дворян» (Пушкин, 1940: 375). То есть Михаил Шванвич – потомственный дворянин, представитель старинного и известного дворянского рода. Однако столь краткие выдержки из «Замечаний...» не дают истинного представления о ходе мыслей Пушкина в работе над пугачевской темой в «Истории...», а позже и в «Капитанской дочке», что и требует привлечения цитат в более полном виде.

В «Замечаниях» к «Истории пугачевского бунта» Пушкин сообщает: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны. (NB. Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать

¹ Известна острая полемика о дворянстве, инициированная Пушкиным в 1830-х гг. на страницах «Литературной газеты» и «Северной пчелы». Сам Пушкин размышлял об этой проблеме в конспективных набросках «О дворянстве» (1830–1835).

и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних были в шайках Пугачева. Шванвич один был из хороших дворян)» (Пушкин, 1940: 375).

Развернутая цитата позволяет понять, что Пушкин видел временное усиление пугачевских масс в присоединении к ним «приказных и чиновников» и «выслужившихся из солдат офицеров», т.е. «новых» дворян, класс которых в XVIII в. (к счастью, по Пушкину) был «еще малочислен». Для Пушкина это «правило» могло иметь исключения (образ капитана Миронова и верных ему «инвалидов»), но общее направление тенденции было именно таково¹. По наблюдениям Пушкина, предателями и перебежчиками становились не «почтенные» дворяне, но «выскочки» (именно эта мысль пронизывает документальное повествование «Истории пугачевского бунта», «Примечания» ней и «Замечания о бунте»).

Между тем о Шванвиче известно, что он был родовым дворянином, и это обстоятельство как будто бы рушит предложенную оппозицию новый ↔ старый. Однако историческая личность Михаил Шванвич и вымышленный персонаж Алексей Швабрин суть не одно и то же лицо, переключка фамилий могла иметь значение для писателя, но исключительно «фонетическое». Пушкин воспользовался звуковым сходством фамилии немецкого происхождения с корнем Schwan- и русского слова «швабра» в стремлении актуализировать «сниженную» семантику последнего (грязь, мусор). Хотя для превосходно образованного Пушкина было очевидно, что значение корня фамилии Шванвич означает «лебедь» (англ. *swan*). Подобие фамилий прототипа и литературного персонажа — мнимое, обманчивое.

Найти разумную (или хотя бы допустимую) мотивацию перехода старинного дворянина на сторону бунтовщиков древний шестисотлетний аристократ Пушкин не мог. Заметим, как и его родовитые современники. Так, В.Ф. Одоевский в письме к автору романа писал: «Пугачев чудесен, он нарисован мастерски. Швабрин набросан прекрасно, но только набросан; для зубов читателя *трудно пережевать его переход из Гвардии Офицера в сообщники Пугачева* <...> Покаместь Швабрин для меня имеет много нравственно-чудесного; может быть, как прочту в 3-й раз, лучше пойму» (Пушкин, 1949а: 236; курсив мой. — О.Б.). И поскольку найти правдоподобной и глубинной мотивации перехода Швабрина на сторону Пугачева благородный Пушкин не мог, у него оставался только один ход — умолчать об истинной причине предательства Швабрина (может быть, не только из трусости, но и из-за любви к Маше) и замолчать происхождение Швабрина (все сведения о герое косвенные, с чужих слов). Так, Марья Ивановна, вспоминая о сватовстве Алексея Ивановича, скажет, что он «хорошей фамилии». Однако (может быть) правы комментаторы, когда не доверяют суждению Маши: «...надо полагать, что капитанской дочке Маше Мироновой, отец которой был из солдатских детей, *любой дворянин* мог представляться человеком хорошей фамилии» (Гиллельсон, Мушина, 1977: 112; курсив мой. — О.Б.). И в этом исследователь очень близок к истине. Таким образом, Шванвич может быть назван прототипом Швабрина с целым рядом существенных оговорок, а родовитость Швабрина в отсутствие доказательств может быть признана сомнительной.

Между тем косвенным указанием на новое дворянство Швабрина, как ни парадоксально, может служить его «близость» реальному Шванвичу, а через него — Алексею Орлову. Пушкин помнил (и даже записал в черновиках «Замечаний о бунте») знаменитую историю о хмельной трактирной драке и ударе Шванвича-старшего палашом по щеке Алексея Орлова. В том же замечании Пушкин сообщал, что после разгрома пугачевской вольницы именно граф А.Г. Орлов просил о помиловании молодого Шванвича перед новой государыней Екатериной. Таким образом, в сознании Пушкина фамилии Шванвич и Орлов, несомненно, были прочно связаны, и эта связь бросала отблеск на пару Шванвич — Швабрин, невольно перенося негативные коннотации с реальных лиц на вымышленные образы. Как помним, в «Моей родословной» Пушкин писал: «Попали в честь тогда Орловы, / А дед мой в крепость, в карантин...» («новые» Орловы противопоставлены «старым» Пушкиным). То есть новое дворянство Орловых оказывалось где-то совсем рядом с образом буюна и «дуэлиста» Швабрина.

¹ Поэтому согласиться с суждением Ю. Лотмана, что в романе Пушкин объединил «всех дворян, без различия их идейно-интеллектуального уровня, степени свободолюбия или сервилизма», вряд ли возможно (Лотман, 1988: 107–124).

Последнее наблюдение дает основание предположить, что при создании образа предателя Швабрина Пушкин мог в объяснении низости поступков героя-дворянина исходить из отсутствия в его роду «старинных» корней, т.е. допуская для читателя возможность «заподозрить» его «новое» дворянство. Потому, если о судьбе обвиненного Гринёва известно, что его должна была постигнуть «примерная казнь», но «из уважения к заслугам и преклонным летам отца» императрица повелела сослать осужденного «в отдаленный край Сибири», то о наказании Швабрина Пушкин (вновь) умалчивает. Между тем в «Замечаниях...» к «Истории пугачевского бунта» Пушкин-историк передает выразительный эпизод «гражданской казни» дворянина Шванвича: был «ошельмован преломлением над головою шпаги» (Пушкин, 1950: 374). Отказ от использования столь выразительной детали в тексте романа может быть расценен как невозможность найти другие мотивы перехода Швабрина в стан врага, как только непрочность его корней. По сведениям Пушкина, «множество из сих последних были в шайках Пугачева...» (Пушкин, 1950: 375).

Однако если отодвинуть мысль о «случайном» происхождении Швабрина и довериться суждению Маши Мироновой о «хорошей фамилии» героя, то динамика взаимоотношений пары «Гринёв ↔ Швабрин» обретает в этом контексте еще большее напряжение и остроту – внутреннюю, нравственную, психологическую (что еще точнее соответствует таланту Пушкина).

Из истории создания «Капитанской дочки», тщательно и многоаспектно исследованной, известно, что черновые планы романа Пушкина включали в себя различные сюжетные перипетии и образ центрального героя от наброска к наброску менял фамилии: Шванвич, Башарин, Валуев, Буланин, Зурин, наконец, Гринёв. Причем в конспективных планах центральный персонаж повествования неизменно оставался единственным, и он вбирал в себя черты характера (и поступки) как Гринёва, так и Швабрина из окончательной редакции романа. Например, в одном из набросков «цельный» герой оказывался в стане бунтовщиков в попытке спасти свою возлюбленную (функция Гринёва, хотя отчасти и Швабрина) или, например, герой, приставший к пугачевцам, избавлял от пленения бунтовщиками его отца (Гринёв из романной «Пропущенной главы») или спасал соседа отца (функция, не нашедшая отражения в окончательном варианте романа). То есть герой по фамилии Шванвич (или др.), казалось бы, будущий подлец Швабрин, вбирал в свой образ коннотации позитивные, аккумулировал черты характера неоднозначного, сложного и противоречивого.

Однако форма мемуара, сознательно избранная для воплощения нарративной интенции героя-рассказчика, вряд ли (по представлениям Пушкина) могла вобрать в себя и выявить все драматические антиномии человеческой личности. Пафос дневникового повествования — о себе и собственных воспоминаниях — с неизбежностью должен был носить избирательный характер, односторонний, субъективный. Психологическая селективность подобного явления была знакома Пушкину, многократно прибегавшему в работе над историческим материалом к дневниковым записям (в том числе и в работе над «Капитанской дочкой» — к воспоминаниям И.И. Дмитриева, Г.Р. Державина, И.А. Крылова и др.). И, следовательно, вряд ли можно согласиться с Г.П. Макогоненко, что дневниковая форма повествования обеспечивала Пушкину объективность свидетельских показаний и оценок Гринёвым существа крестьянского восстания и истинности характера его предводителя. Скорее наоборот — Пушкин потому и избирал форму частных записок, чтобы аргументально задать ракурс личности оценок, их выборочности, необъективности. С одной стороны, это защищало издателя от цензурных претензий («изменившаяся» по сравнению с «Историей...» точка зрения на Пугачева принадлежала не Пушкину, но Гринёву), с другой стороны — именно «чужая» дневниковая форма наррации позволяла Пушкину выявить субъективную точку зрения рассказчика (и на ее фоне акцентировать объективированную точку зрения издателя). План выражения и план содержания в одной и той же точке совпадали и не совпадали, высказываемые сентенции были гринёвскими и пушкинскими одновременно — но, что особенно важно, нередко различными¹.

¹ Поэтому вряд ли можно согласиться с Ю. Оксманом, что «расщепление образа дворянина» было связано с тем, чтобы «обеспечить прохождение “Капитанской дочки” в печать» (Оксман, 1959: 76).

Субъективизм рассказчика дополнялся и корректировался объективизмом издателя, но и объективность последнего подвергалась психологической ревизии со стороны субъективности первого.

Благодаря избранной нарративной форме сложный и противоречивый характер единого и цельного романного героя дробился на два образа дневниковые, с доминантными и, как следствие, упрощенными чертами, опосредованными преобладающей в повествовании личностно-субъективной аксиологией персонажа-рассказчика. Потому часто критикуемая и опровергаемая пушкинистами, кажущаяся несправедливой оценка «Капитанской дочки», данная некогда В.Г.Белинским, при здравом размышлении оказывается допустимой и оправданной. Если отбросить формальную резкость критика-демократа, то можно принять его по существу верную оценку – замечание о «бесцветности» характера Гринёва и Маши Мироновой и о «мелодраматизме» образа Швабрина¹. Правда, последнее качество в тексте романа скорее в большей степени реализуется в образах двух молодых влюбленных героев – Маши и Петруши, тогда как мелодраматизм Швабрина редуцируется, лишь угадывается, но не прописывается.

Так, едва ли не в каждом эпизоде, где появляется юная Маша Миронова, ее образ сопровождается черточками героини отлитературной – сентиментальной и мелодраматичной, чувствительной и сердечно изнеженной. Ни в одной из сюжетных картин Маша не выглядит героиней полноцветной или яркой – она везде «бледная и трепещущая», «бледная, худая».

В рассказе Василисы Егоровны о жизни в крепости: «До сих пор не может слышать выстрела из ружья, так и затрепещет...» (Пушкин, 1948: 298).

При выстреле из пушки – «<...> чуть со страха на тот свет не отправилась», «оглушенная залпом, она казалась без памяти...» (Пушкин, 1948: 323).

При известии о приближении вражеской силы – «ни жива, ни мертва» (Пушкин, 1948: 323).

При встрече с возлюбленным – «Увидя меня, она вздрогнула и закричала» и вскоре «упала без чувств» (Пушкин, 1948: 356).

Поистине в героине жизни нет – она явное порождение сентиментального литературного XVIII века, аллюзия-проекция к карамзинской «бедной Лизе».

В сентиментальности и елейности, присущей персонажам чувствительно-сентиментальной литературы конца XVIII в. (Н.М.Карамзин, В.А.Жуковский, братья Тургеневы и др.), пушкинской героине не уступает герой. В манере и тональности дневникового изложения Гринёв-рассказчик предстает выразительным карамзинистом, с присущим последнему «внутренним человеком», окруженным атмосферой чувствительного морализирования и пристальным вниманием к движению «сердца и воображения» (ср. об Эрасте из «Бедной Лизы» – «добрый и ласковый барин», «ласковый, пригожий», «он взглянул на нее с видом ласковым...»).

В тексте романа о чувствительных любовных стишках Гринёва (сентиментальных в духе Третьяковского) говорит Швабрин. Но в пространстве романной жизни, в текстовой реальности повествования поведение Гринёва не в меньшей степени пронизано и карамзинской сентиментальностью (отчасти и поэтическими сантиментами Жуковского). Так, перед приступом крепости герой прощается с капитанской дочкой и произносит трогательные слова: «Прощай, мой ангел <...> прощай, моя милая, моя желанная! Чтобы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» (Пушкин, 1948: 320). Вскоре герой-рассказчик дополняет чувствительность образа: «Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомя, что накануне получил ее из ее рук, как бы в защиту моей любезной! Я воображал себя ее рыцарем...» (Пушкин, 1948: 322). Оказавшись в комнате Маши после приступа пугачевцев, не удержался от поэтической риторики: «Где ж была хозяйка этой смиренной девической кельи?..» И далее: «Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной...» (Пушкин, 1948: 327) Потому

¹ «Ничтожный, бесцветный характер героя повести и его возлюбленной Марьи Ивановны и мелодраматический характер Швабрина хотя принадлежат к резким недостаткам повести, однако ж не мешают ей быть одним из замечательных произведений русской литературы» (Белинский, 1955: 577).

ожидаемо поведение возлюбленных при встрече после долгой разлуки: «Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали...» (Пушкин, 1948: 357).

Однако карамзинская сентиментально-чувствительная повесть обернулась (развернулась) у Пушкина в гриневском журнале иной фабульной стороной – по сути сентиментальной, но полярно трансформирующей знакомую карамзинскую развязку, доводя трогательно-чувствительные воспоминания до счастливого конца.

Очевидно, что если рассказчик Гринёв мог не осознавать столь нагнетаемой сентиментальной избыточности, то от издателя таковая насыщенность текста сантиментами ускользнуть не могла. Пушкин и обнажает мелодраматизм образов героев (нарративный дискурс Гринёва), и иронизирует на этот счет (дискурсивный ракурс издателя), акцентируя тем самым дихотомию: любовная фабула составляет стержень дневниковой наррации, но не романной.

Иными словами, избранная форма записок-мемуара, создаваемых Гринёвым для благодарных потомков (один из вариантов начала записок: «Любезный друг мой Петруша! Часто рассказывал я тебе некоторые происшествия моей жизни...»¹), диктовала Пушкину известную облегченность характеров мемуарных персонажей, некоторую упрощенность и даже сказочность тех перипетий, в которых они оказываются.

Однако, как бы то ни было, упреки (в том числе Белинского) в непрописанности характеров Маши и Петруши, замечания о недостаточности литературного мастерства и недаровитости повествователя должны быть отнесены (сознательно отнесены писателем) к герою-рассказчику, но не к герою-издателю. Последний оказывался «над» текстом наивного прапорщика (или отставного военного) Петра Гринёва и позволял читателю разглядеть сложность характеров персонажей в чертах, не только выделяемых мемуаристом, но и формирующихся межстрочно (подтекстово). Активно эксплуатируемый ранее Пушкиным, например, в «Повестях Белкина», прием авторской (сюжетной) маскировки позволял писателю «каждый момент рассказа <ощущать> в двух планах: в плане рассказчика, в его предметно-смысловом и экспрессивном кругозоре, и в плане автора, преломленно говорящего этим рассказом и через этот рассказ» (Бахтин, 1975: 127). План восприятия дневникового мемуариста принципиально не совпадал с планом осмысления событий романном издателем.

Так, знакомство с Алексеем Ивановичем Швабриным происходит в третьей главе романа – «Крепость», впервые заочно, когда Василиса Егоровна сообщает приехавшему Гринёву: «Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство...» (Пушкин, 1948: 295). Появление Гринёва в Белогорской крепости Иваном Игнатьичем, старым инвалидом, тоже предположительно связывается с дуэлью: «А смею спросить <...> зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон? <...> Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки...» (Пушкин, 1948: 295) То есть оба молодые героя а priori связываются между собой понятием дворянской чести — реальным или предполагаемым («чаемым») участием в дуэли, в поединке чести.

Близости героев служит и название поэтических учителей Швабрина и Гринёва, с одной стороны, фактически снимая полярную антитезу между ними, с другой – усиливая ее. Вспоминая о своем поэтическом даре, Гринёв пишет: «Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалил...» (Пушкин, 1948: 300) Подобным же образом (почти симметрично и композиционно рядом) Швабрин назовет своим учителем Тредиаковского: «Такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплеты...» (Пушкин, 1948: 300) (затекстово проступает и собственно пушкинское: «Старик Державин нас заметил...»). Имена Тредиаковского и Сумарокова оказываются рядом, и хотя современникам Пушкина было (еще) памятно противостояние, существовавшее между выдающимися классиками XVIII в. (по предмету «филологическое», но по сути и личное), однако оба оставались высочайшими авторитетами в литературе XIX в., оба воспринимались оппонентами по отношению к официальному («высокому») стилю Ломоносова и по праву числились «образцовыми». Называние имен Тредиаковского

¹ Из вступления к «Капитанской дочке», которое не вошло в основной текст романа (Пушкин, 1940: 927).

и Сумарокова подчеркивает «парную» литературную образованность молодых героев и в какой-то мере «уравнивает» (уравновешивает) их образы, допуская поэтический («нежный») талант не только в рассказчике-мемуаристе, но и в Швабрине. Так, о хорошем литературном вкусе антагониста свидетельствует его суждение о поэтических опытах Гринёва. Швабрин прав, когда осмеивает действительно до наивности сентиментальные и второсортные стишки влюбленного Гринёва (опрошенные и оглушенные в том числе и в результате тех изменений, что были внесены Пушкиным в оригинальный текст: «...ах, Маша...», «Сжался, Маша...» и др.)¹.

Но в именах литературных учителей героев заложено и еще одно представление, уже не сближающее, а разделяющее героев. Сегодня едва ли кто помнит о том, что Третьяковский не был дворянином (родом из семьи астраханского священника), Сумароков, наоборот, происходил из родовитой дворянской семьи, и потому на страницах «Трудолюбивой пчелы» немалое место занимали его всегдашние рассуждения о дворянском сословии и положении крестьян. Опосредованно, но «родословные» наставников бросают ответ на молодых героев и заставляют вспомнить о «новом» и «старом» дворянстве.

Последнее замечание не лишено смысла, так как в заметках «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (1830) Пушкин прямо писал о том, что «большая часть наших литераторов» представляет собой «старинное дворянство, кое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного...» (Пушкин, 1949: 173) Легко сопоставить: о Гринёве издатель в финале сообщит, что потомство его «благоденствует в Симбирской губернии», в одном из сел, «принадлежащем десятерым помещикам», т.е. в одном из «раздробленных имений» (Пушкин, 1948: 374). И наоборот, о новом дворянстве в «Опыте...» Пушкин говорит, что «по большей части» оно и составляет «нашу знать», «истинную, богатую и могущественную аристократию...» (Пушкин, 1949: 173). Вспомним, что о Швабрине в романе сказано, что его семья «имеет состояние». То есть даже в раздумьях о литературе Пушкин не оставлял мысли о «различиях в дворянстве», а следовательно, упоминание Третьяковского и Сумарокова было неслучайным и намеренно проецировалось на молодых героев, которые «занимались литературой» и чьи поэтические опыты «для тогдашнего времени были изрядны».

Весьма любопытно, что портрет Швабрина вбирает в себя удивительно знакомые (как ни парадоксально – пушкинские) черты: «...ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. “Извините меня”, – сказал он мне по-французски...» (Пушкин, 1948: 296). Суммарность и множественность индивидуализирующих черт Швабрина далеко уводят от известного портрета реального Михаила Шванвича, оставленного современниками, но указывают на совершенно иной «прототип». О новом знакомом Гринёв пишет: «Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца...» (Пушкин, 1948: 296). Позитивная коннотация образа Швабрина очевидна, его загадочная личность словно бы несет в себе следы (рудименты) того единого образа, который остался в планах Пушкина. Более того, влюбленный в Машу Швабрин (как и Гринёв) дважды благородно уберегает Машу от грозящих ей неприятностей – в первый раз, не выдав Машу при взятии крепости пугачевцами (в данном случае даже от смерти), во второй – не упомянув ее имени во время следствия над изменниками.

И наоборот, «положительный» Гринёв (заметим, тоже наделенный узнаваемой чертой: «грыз перо в ожидании рифмы») обнаруживает подвижность в степени ответственности и преданности его гражданскому долгу (и чести), например, в тех эпизодах, когда (подобно Швабрину, влюбленный и желающий спасти Машу) герой самовольно оставляет Оренбург и отправляется в Берду в поисках помощи у Пугачева. Прочтя правительственную бумагу, «секретный приказ» об аресте, полученный Зуриным, Гринёв

¹ В. Чернышевым установлено, что Пушкин приписал Гринёву стихотворение, заимствованное им из «Нового и полного собрания российских песен» (М., 1780) и частично измененное. «Конечно, Пушкин мог узнать данную песню и не по сборнику Новикова, но познакомиться с ней в живом употреблении: напр., в пении дворовых или мещан», – пишет В. Чернышев (Чернышев, 1904: 26).

понимает, что «приятельские сношения <его> с Пугачевым <...> должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными» (Пушкин, 1948: 366). Видимость вины осознает сам герой, тем более виновным он предстает в глазах очевидцев и особенно чиновных следователей. Вопрос: «Отчего произошла такая странная дружба <с бунтовщиком> и на чем она основана...» (Пушкин, 1948: 367) – имеет прочный базис.

Заметим, что, «направляя» героя в Берду, в пугачевскую ставку, Пушкин от рукописи к рукописи меняет поведенческий импульс персонажа, мотивацию обращения Гринёва к злодею – и этот субъектный контекст симптоматичен. По черновикам известно, что в одном варианте главы «Мятежная слобода» Пушкин говорит о продуманном намерении героя обратиться за помощью к главарю бунтовщиков, в другом – о случайности попадания Петруши в стан к мятежникам. Колебания в модальной установке автора опосредуют неустойчивость позиции (в том числе и) центрального персонажа – писатель вместе с героем словно бы сомневается, раздумывает, выбирая тот или иной путь. И оба пути для героя (и для писателя) оказываются гипотетически возможными. Как и в случае с Швабриным, Пушкин «утаивает», каким мог бы быть план сознательного и целенаправленного обращения Гринёва к Пугачеву, каковой могла бы быть его цена. Но по сути, в такой проекции Гринёв оказывался симметрично подобен Швабрину, его намерение обратиться к Пугачеву было продуманным и осознанным, хотя, по его словам, и «странным». И несмотря на то, что в конечном итоге Пушкин выбирает «случай», знаменательно, что вариант сознательного обращения Гринёва за помощью к бунтовщику допускался писателем. И в образе Швабрина, и в образе Гринёва Пушкин искал мотив перехода на другую сторону, но не обличал (подобно Гринёву) неясную и непонятную позицию оппонента.

В отличие от Швабрина Гринёв не опускается до непростительной низости, не вступает в ряды пугачевцев, но его поведение объективно порочно (до известной меры – как и поведение Швабрина). Его арест и последующий процесс над ним объективно объяснимы и оправданны (именно поэтому Маша просит у государыни милости, а не правосудия). Члены следственной комиссии не сомневаются в вине Гринёва, сторонние свидетельства (доказательства) его связи с Пугачевым очевидны. Однако форма мемуара-дневника, повествование от первого лица, нюансировка субъективных мотиваций, которые выдвигает сам участник событий и которые он же субъективно интерпретирует, «спасает» и «оправдывает» рассказчика: фактически герой сам себя обеляет.

Можно представить, что, если бы повествование вел не Гринёв, а некое другое лицо (или даже независимый нарратор), акценты в воспоминаниях могли бы быть смещены, аксиология поступков героя со всей определенностью складывалась бы иначе. Поэтому, на наш взгляд, безупречна окончательная версия романа, в которой Пушкин не дает объяснения (устаи Гринёва) скрытым мотивам поступков Швабрина – субъективная тайна его устремлений остается с ним. Негативный пафос оценочных суждений, которые сопровождают образ Швабрина, есть следствие взгляда малоопытного и наивного Гринёва, а не мудрого писателя (издателя). Иначе интерпретировать персонажную пару «Гринёв – Швабрин» значит обеднять роман Пушкина.

Между тем в тексте дневника-мемуара повествователем обрисовывается множество эпизодов, которые безапелляционно очерняют образ Швабрина – наветы на Машу, мстительность и зависть, подлость, проявленная во время дуэли, переход на сторону повстанцев, доносы... Однако относительно последних – доносов – дело в романе тоже обстоит непросто. Например, Гринёв уверен, что письмо родителям о дуэли написал Швабрин («Подозрения мои остановились на Швабрине...»), предполагая, что «он один имел выгоду в доносе» (возможный перевод Гринёва в другую крепость, удаление его от Маши). Между тем в тексте романа так и не выявлено, кто же из героев написал письмо, чтобы «помутить сына с отцом» – наоборот, Пушкин сообщает, что первоначально Петруша обвинял в этом Савельича и был уверен в своей правоте, но, как оказалось позже, герой ошибался, преданный дядька не писал письма хозяевам («Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением» (Пушкин, 1948: 310)). Герой оскорбил подозрением Савельича, которого знал с младенчества, но подобная ошибка могла произойти и в случае с Швабриным (доказательств на этот счет в тексте нет). То есть Пушкин так искусно строит романное

повествование, что почти любое из свидетельств Гринёва в конечном счете может быть поставлено под сомнение. Вспомним начало романа, главу II, где юный герой самоуверенно не прислушивается к предупреждению возникшего по поводу приближающейся бури: «...ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно...» (Пушкин, 1948: 287) – и ошибся. Или в другом случае: «Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающего ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и воду» (Пушкин, 1948: 294) – и вновь ошибся. И такого рода «обманных» предчувствий у Гринёва множество. То есть сомнению могут быть подвергнуты многие чувствования и подозрения Гринёва и, как следствие, оценки им поступков (и личности) Швабрина. Так, например, читателю очевидно, что Гринёв категорически неверно характеризует чувства Швабрина к Маше: если мемуарист определяет ее как «невинный предмет его <швабринской> ненависти», то читателю очевидно, что дочь капитана Миронова – предмет искренней, полной глубокого драматизма любви Швабрина. Пушкин (= издатель) неизменно ставит под сомнение суждения и оценки Гринёва, тем самым раздвигая морализаторские рамки его аксиологии.

4. Заключение

Предложенные утверждения не направлены к тому, чтобы обелить личность или оправдать поведение героя Алексея Швабрина, в конечном итоге все-таки сводящиеся в тексте Гринёвских мемуаров к негативной оценке. Однако пушкинское умение сохранить емкость характера отдельного персонажа, отказаться от примитивного классицистического деления на положительных и отрицательных героев, способность предположить (разглядеть) в разных характерах антиномичные свойства, обогащает восприятие романа (и образа Швабрина в том числе).

Литература

- Бахтин, 1975 – Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 504 с.
- Белинский, 1955 – Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 7. М.: АН СССР, 1955. 740 с.
- Белинский, 1956 – Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 10. М.: АН СССР, 1956. 474 с.
- Блок, 1940 – Блок Г.П. Путь в Берду (Пушкин и Шванвич) // Звезда. 1940. № 10. С. 211–214.
- Богданова, 2019 – Богданова О.В. «...невольник чести»: «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Сер. «Анализ литературного произведения». Вып. 103–104. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2019. Ч. 1. 46 с.; Ч. 2. 38 с.
- Гиллельсон, Мушина, 1977 – Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Комментарий. Л.: Просвещение, 1977. 192 с.
- Гуковский, 1957 – Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: Художественная литература, 1957. 416 с.
- Измайлов, 1960 – Измайлов Н.В. Об архивных материалах Пушкина для «Истории Пугачева» // Пушкин: Исследования и материалы. Т. III. Л.: Наука, 1960. С. 438–454.
- Лотман, 1988 – Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988. 352 с.
- Лотман, 1999 – Лотман Ю.М. Пушкин. СПб.: Искусство-СПб., 1999. 847 с.
- Макогоненко, 1977 – Макогоненко Г.П. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Л.: Художественная литература, 1977. 112 с.
- Овчинников, 1981 – Овчинников Р.В. Над Пугачёвскими страницами Пушкина. М.: Наука, 1981. 160 с.
- Овчинников, 1991 – Овчинников Р.В. Записи Пушкина о Шванвичах // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 14. Л.: Наука, 1991. С. 235–245.
- Оксман, 1959 – Оксман Ю.Г. От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника». Саратов: Саратовское книжное издательство, 1959. 316 с.
- Петров, 1953 – Петров С.М. Исторический роман А.С. Пушкина. М.: Наука, 1953. 157 с.

- Петрунина 1987** – *Петрунина Н.Н.* Проза Пушкина. Л.: Наука, 1987. 335 с.
- Пушкин, 1948** – *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 8. Кн. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 496 с.
- Пушкин, 1940** – *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 8. Кн. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. 927 с.
- Пушкин, 1949** – *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 11. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 600 с.
- Пушкин, 1949а** – *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 16. М.: АН СССР, 1949. 503 с.
- Пушкин, 1950** – *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 9. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 488 с.
- Чернышев, 1904** – *Чернышев В.* Заметка к Пушкину: Происхождение песенки Гринёва «Мысль любовну истребляя» // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 2. СПб.: Комис. для изд. соч. Пушкина при Отд-нии рус. яз. и словесности Имп. акад. наук, 1904. С. 25–26.

References

- Bahtin, 1975** – *Bahtin M.M.* (1975). *Voprosy literatury i jestetiki* [Questions of literature and aesthetics]. Moscow: Hudozhestvennaya literatura Publ., 504 p. [in Russian]
- Belinskij, 1955** – *Belinskij V.G.* (1955). *Polnoe sobranie sochinenij*. [Complete works]. Vol. 7. Moscow: USSR Academy of Sciences, 740 p. [in Russian]
- Belinskij, 1956** – *Belinskij V.G.* (1956). *Polnoe sobranie sochinenij*. [Complete works]. Vol. 10. Moscow: USSR Academy of Sciences, 474 p. [in Russian]
- Blok 1940** – *Blok G.P.* (1940). *Put' v Berdu* (Pushkin i Shvanvich) [The pass to Berda (Pushkin and Shvanvich)]. *Zvezda*. № 10. pp. 211–214. [in Russian]
- Bogdanova, 2019** – *Bogdanova O.V.* (2019). «...nevol'nik chesti»: «Kapitanskaja dochka» A.S. Pushkina [“...slave of honor”. “Captain’s daughter” of A.S. Pushkin]. Ser. «Literary analysis». Is. 103–104. Saint-Petersburg: Philology Department of St. Petersburg State University. Part. 1. 46 p.; Part. 2. 38 p. [in Russian]
- Gillel'son, Mushina, 1977** – *Gillel'son M.I., Mushina I.B.* (1977). *Povest' A.S. Pushkina “Kapitanskaja dochka”. Kommentarii* [A.S. Pushkin’s novel “Captain’s daughter”. Comments]. Leningrad: Prosveshhenie Publ., 192 p. [in Russian]
- Gukovskij, 1957** – *Gukovskij G.A.* (1957). *Pushkin i problemy realisticheskogo stilja* [Pushkin and the problems of realistic style]. Moscow: Hudozhestvennaja literatura Publ., 416 p. [in Russian]
- Izmajlov, 1960** – *Izmajlov N.V.* (1960). *Ob arhivnyh materialah Pushkina dlja “Istorii Pugacheva”* [About archival materials of Pushkin for “History of Pugachev”]. *Pushkin: Issledovanija i materialy* [Pushkin: Research and materials]. Vol. III. Leningrad: Nauka Publ., pp. 438–454. [in Russian]
- Lotman, 1988** – *Lotman Ju.M.* (1988). *V shkole pojeticheskogo slova. Pushkin. Lermontov. Gogol'* [The schooling of the poetic word. Pushkin. Lermontov. Gogol']. Moscow: Prosveshhenie Publ., pp. 107–124 [in Russian]
- Lotman, 1999** – *Lotman Ju.M.* (1999). *Pushkin*. Saint-Petersburg: Iskusstvo-SPb, 847 p. [in Russian]
- Makogonenko, 1977** – *Makogonenko G.P.* (1977). “Kapitanskaja dochka” A.S. Pushkina [“Captain’s daughter” of A.S. Pushkin]. Leningrad: Hudozhestvennaya literatura Publ., 112 p. [in Russian]
- Ovchinnikov, 1981** – *Ovchinnikov R.V.* (1981). *Nad Pugachjovskimi stranicami Pushkina* [On the pages of Pushkin’s Pugachev]. Moscow: Nauka Publ., 160 p. [in Russian]
- Ovchinnikov, 1991** – *Ovchinnikov R.V.* (1991). *Zapisi Pushkina o Shvanvichah* [Notes of Pushkin about Swanwiches]. *Pushkin: Issledovanija i materialy* [Pushkin: Research and materials]. Leningrad: Nauka Publ. Vol. 14, pp. 235–245 [in Russian]
- Oksman, 1959** – *Oksman Ju.G.* (1959). *Ot “Kapitanskoj dochki” k “Zapiskam ohotnika”* [From “Captain's daughter” to “Notes of the hunter”]. Saratov: Saratov Book Publishing House, 314 p. [in Russian]

- Petrov, 1953** – *Petrov S.M.* (1953). Istoricheskij roman A.S. Pushkina [Historical novel by A.S. Pushkin]. Moscow: Nauka Publ., 157 p. [in Russian]
- Petrunina, 1987** – *Petrunina N.N.* (1987). Proza Pushkina [The prose of Pushkin]. Leningrad: Nauka Publ., 335 p. [in Russian]
- Pushkin, 1948** – *Pushkin A.S.* (1948). Polnoe sobranie sochinenij [Complete works]: in 16 vol. Vol. 8. P. 1. Moscow, Leningrad: USSR Academy of Sciences, 496 p. [in Russian]
- Pushkin, 1940** – *Pushkin A.S.* (1940). Polnoe sobranie sochinenij [Complete works]: in 16 vol. Vol. 8. P. 2. Moscow, Leningrad: USSR Academy of Sciences, 927 p. [in Russian]
- Pushkin, 1949** – *Pushkin A.S.* (1949). Polnoe sobranie sochinenij [Complete works]: in 16 vol. Vol. 11. Moscow, Leningrad: USSR Academy of Sciences, 600 p. [in Russian]
- Pushkin, 1949a** – *Pushkin A.S.* (1949a). Polnoe sobranie sochinenij [Complete works]: in 16 vol. Vol. 16. Moscow, Leningrad: USSR Academy of Sciences, 503 p. [in Russian]
- Pushkin, 1950** – *Pushkin A.S.* (1950). Polnoe sobranie sochinenij [Complete works]: in 16 vol. Vol. 9. Moscow, Leningrad: USSR Academy of Sciences, 488 p. [in Russian]
- Chernyshev, 1904** – *Chernyshev V.* (1904). Zаметка k Pushkinu: Proiskhozhdenie pesenki Grineva “Mysl' lyubovnu istreblyaya” [Note to Pushkin: the Origin of the song Grinev “Thought lovingly destroying”]. Pushkin i ego sovremenniki: Materialy i issledovaniya [Pushkin and his contemporaries: materials and research]. Is. 2. St. Petersburg: Komis. dlya izd. soch. Pushkina pri Otd-nii rus. yaz. i slovesnosti Imp. akad. nauk, pp. 25–26. [in Russian]

Проблемы современной интерпретации классических текстов («Капитанская дочка» А.С. Пушкина в школе и в вузе)

Ольга Владимировна Богданова ^{а, *}

^а Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Российская Федерация

Аннотация. В предлагаемой статье на примере текста романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка» демонстрируется, как в современных условиях меняются аксиологические ракурсы классических литературных произведений, как в современной школе может быть более интересно и более глубоко интерпретирован перед учащимися или студентами хрестоматийный материал, многократно исследованный и подвергнутый осмыслению в разные годы. Так, в статье в частности рассматриваются образы центральных персонажей пушкинского романа – Петра Гринёва и Алексея Швабрина – и показано, как из цельного образа первоначально единственного в рукописях Пушкина героя выделились два образа-персонажа – Гринёв и Швабрин. Однако в противовес существующей традиции, которая рассматривает данных героев «Капитанской дочки» как героев-антагонистов, в данной работе эти образы квалифицируются как герои-двойники, имеющие общий идейный корень. В ходе исследования показано, что образ Гринёва несомненно несет в себе черты автобиографического героя, например, в тех обстоятельствах, когда в первой главе романа ведется повествование о детстве центрального героя. Однако прежде исследователи не обратили внимание на то обстоятельство, что и образ Швабрина сопровождают портретные детали и черты, которые имеют связь с личностью реального Пушкина, создателя романа. Так, например, при первом появлении героя перед Гринёвым (и читателем) обращают на себя внимание характерные приметы пушкинского портрета (вьющиеся темные волосы, темный цвет кожи, невысокий рост, беглое владение французским языком, живость характера). По мере развития действия романа становится ясно, что писатель намеренно наделяет героев сходными чертами, фактически уравнивает и уподобляет персонажей, обнаруживая противоречивость характера каждого из них, ставя их в сходные ситуации, сталкивая в одном конфликте – «любовном треугольнике». Тем

* Корреспондирующий автор
Адреса электронной почты: olgabogdanova03@mail.ru (О.В. Богданова)

самым Пушкин фактически демонстрирует приемы автопсихоанализа: посредством образов парных персонажей автор дезавуирует двойственность натуры каждого человека, обнаруживает двойственные порывы внутри личности одного человека, каждого из нас (в том числе и себя). Форма повествования в романе – мемуары, дневник, воспоминания – подтолкнула автора к тому, чтобы единый и цельный образ сложного героя распался в итоге на два упрощенных образа, представших в сознании героя-повествователя более понятными восприятию персонажа-недоросля Петруши Гринёва. Последнее утверждение не означает, что Пушкин собирался обелить личность или оправдать поведение героя Алексея Швабрина, в конечном итоге все-таки сводящиеся в тексте мемуаров к негативной оценке, однако пушкинское умение сохранить емкость характера отдельного персонажа, отказаться от примитивного классицистического деления на положительных и отрицательных героев, способность предположить (разглядеть) в разных характерах антиномичные свойства, обогащает восприятие романа (и образа Швабрина в том числе).

Ключевые слова: русская литература XIX века, А.С. Пушкин, роман «Капитанская дочка», дихотомия образа, парность персонажей, субъективизм наррации.